

A man in a dark trench coat and a fedora hat is walking away from the camera down a narrow, foggy street at night. The street is wet and covered with fallen leaves. On the left, there are multi-story buildings with lit windows and a red neon sign that says "METCAS". On the right, there are street lamps and bare trees. The fog is thick, and a faint, translucent image of a classical building is visible in the background.

МЕТАМОРФОСИС: АНАТОМИЯ СЛЕПОТЫ

Руслан Корогодин

Руслан Корогодин

МЕТАМОРPHOSIS:

АНАТОМИЯ СЛЕПОТЫ

<https://litres.ru/74000451>

SelfPub; 2026

Аннотация

Антон Кервин, профайлер ФБР, с детства видит ложь — буквально, как серый туман, окутывающий лгущего. Когда ведущий психиатр элитной швейцарской клиники найден мёртвым, а на стене кровью выведено латинское VERITAS, Кервин оказывается втянут в расследование, которое выводит его далеко за пределы привычной реальности. В клинике он встречает Лив — девушку без прошлого, которая не говорит, но рисует города, которых нет, и портрет Кервина за две недели до их первой встречи.

Следуя за уликами, Кервин принимает препарат «Veritas» — и его восприятие меняется навсегда. Теперь он видит не только ложь, но скрытую структуру бытия: четыре мира, четыре палаты сознания, между которыми идёт вечная война за человеческую способность чувствовать. Чтобы найти истину, Кервину предстоит пройти через каждую из них — от ледяного Ада чистого разума до стерильного Рая абсолютного неведения —

и сделать выбор, который определит судьбу не только его самого, но и всего человечества.

Содержание

Глава 1	5
Конец ознакомительного фрагмента.	40

Руслан Корогодин METAMORPHOSIS: АНАТОМИЯ СЛЕПОТЫ

Глава 1

METAMORPHOSIS: АНАТОМИЯ СЛЕПОТЫ

Глава.1: VERITAS

Есть ложь, которая спасает. Есть истина, которая убивает. И есть человек, который стоит между ними, не зная, что он уже мёртв.

Дождь в Цюрихе пахнет не водой, а деньгами и антисептиком. Антон Кервин стоял у окна кабинета, который ему выделили в клинике «Аркадия», и смотрел, как капли разбиваются о стекло. Ему всегда нравился этот звук — белый шум, перекрывающий внутренние голоса. В детстве он включал кран в ванной и сидел на кафельном полу часами, слушая, как вода ударяется о фаянс, и представляя, что мир за дверью исчез, растворился в этом монотонном ритме.

Мир не исчезал. Он всегда ждал с той стороны. Лживый, туманный, полный людей, которые улыбались, когда хотели ударить, и плакали, когда хотели обмануть.

Он отогнал воспоминание. Сейчас было не время для автобиографических раскопок — этим он займётся позже, в номере отеля, с бутылкой чего-нибудь прозрачного и обжигающего. Сейчас перед ним лежало тело.

Доктор Элиас Вейс, пятьдесят восемь лет, ведущий психиатр «Аркадии», был найден мёртвым в собственном кабинете в 06:42 утра. Кервин знал время с точностью до минуты, потому что успел просмотреть отчёт местной полиции до того, как его вежливо, но настойчиво попросили «не вмешиваться в следственные действия». Он не спорил. Он редко спорил с людьми, если это не было необходимо для дела. Спор — это эмоция, а эмоции — это шум. Шум, который мешает видеть.

А видеть было его профессией. И его проклятием.

Кервин повернулся к телу. Вейс сидел в кресле — спина прямая, руки на подлокотниках, ноги сведены вместе. Поза напоминала восковую фигуру из музея: слишком правильная, слишком застывшая. На виске — аккуратное входное отверстие, уже потемневшее по краям. Пистолет лежал на

полу, ровно под правой рукой, словно кто-то заботливо положил его туда, соблюдая симметрию.

Но главное было не тело. Главное было на стене.

Слово, написанное кровью. Буквы высотой в фут, выведенные тщательно, почти каллиграфически. Вейс не торопился, когда писал это. Он обмакнул палец в собственную рану — или в ещё тёплую кровь, текущую по виску, — и вывел каждую букву с аккуратностью, которая противоречила самому факту самоубийства.

VERITAS

Кервин смотрел на стену и чувствовал странное покалывание в затылке. Не страх. Не отвращение. Что-то иное — узнавание. Словно он уже видел это слово. Не в книгах, не в лекциях по латыни. Где-то ещё. В месте, которого не помнил, но которое помнило его.

Он отвёл взгляд и заставил себя дышать ровно.

— Мистер Кервин?

Голос за спиной был маслянистым, скользким, как мокрый шёлк. Кервин обернулся. В дверях стоял человек, кото-

рого он мгновенно классифицировал по давно отработанной системе: «начальник». Дорогой костюм, но без фантазии — серый, как и положено в Швейцарии. Галстук затянут слишком туго, до кадыка, что выдавало человека, который привык душить себя правилами. Взгляд прямой, но неглубокий — так смотрят люди, которые боятся увидеть дно. От него исходил туман.

Кервин привык к туману. Он видел его с двенадцати лет. В тот день, когда умер и вернулся. В тот день, когда впервые понял, что отец лжёт.

Туман был разным. У этого человека — доктора Неринга, как он представился, директора клиники — туман был серым с желтоватыми прожилками. Цвет страха, смешанного с ложью самому себе. Неринг боялся. Но не трупа. И не полиции. Он боялся чего-то, что скрывалось за этим трупом. Чего-то, о чём он знал, но не хотел знать.

— Спасибо, что приехали так быстро, — говорил Неринг, и его голос дрожал ровно настолько, чтобы казаться взволнованным, но не настолько, чтобы казаться виноватым. — Полиция уже здесь, но они говорят — самоубийство. А я думаю...

— Вы думаете, это не самоубийство.

— Да. То есть... Вейс не мог. Он был... он был счастливым человеком.

Кервин чуть не рассмеялся. «Счастливый человек». В его устах это звучало как диагноз. Возможно, так оно и было. За годы работы в отделе поведенческого анализа ФБР он составил собственную неофициальную классификацию: счастливые люди делились на тех, кто ещё не понял, и тех, кто уже забыл. Третьей категории не существовало.

— Доктор Неринг, — сказал он мягко, почти ласково (этот тон он оттачивал годами, как скальпель), — я здесь не для того, чтобы оспаривать заключение швейцарской полиции. Я здесь, потому что ваш покойный коллега консультировал один проект, который интересует людей в Вашингтоне. Мне не нужно знать, был ли он счастлив. Мне нужно знать, над чем он работал в последние недели. И ещё — мне нужно поговорить с его пациентами. Со всеми.

Неринг побледнел. Туман вокруг него сгустился, приобрёл почти чёрный оттенок у краёв — верный признак того, что сейчас человека либо вырвет, либо он начнёт оправдываться. Кервин ждал. Он умел ждать. В этой профессии умение ждать было важнее умения стрелять.

— Это невозможно, — выдавил наконец Неринг. — Врачебная тайна. И у нас особый контингент. Очень влиятельные люди. Если их имена попадут в прессу...

— Доктор Неринг. — Кервин шагнул ближе, сократив дистанцию до той, которую психологи называют «интимной», а обычные люди — «угрожающей». — Человек вырезал слово «истина» собственной кровью на стене кабинета. Это не предсмертная записка. Это не крик о помощи. Это — сообщение. И адресовано оно либо мне, либо тому, кто придёт после. Если вы скроете от меня его пациентов, это сообщение дойдёт не по адресу. И когда оно дойдёт — а оно дойдёт, — вы не захотите быть тем, кто его перехватил.

Неринг смотрел на него, и в его глазах Кервин видел борьбу. Не между добром и злом — таких битв он давно не наблюдал. Между страхом перед начальством и страхом перед неизвестностью. Второй страх побеждал.

— Хорошо, — сказал Неринг, и его голос упал до шёпота. — Я распоряжусь. Но пациентка, которую вы должны увидеть... она особенная. Она не говорит. Вообще. Уже два года.

— Как её зовут?

— Лив. Просто Лив. Она поступила к нам после попытки суицида. Без документов, без страховки, без прошлого. Полиция нашла её на мосту. Она стояла на перилах и смотрела вниз. Когда её сняли, она не сказала ни слова. И с тех пор молчит.

— Что она делает?

— Рисует. Весь день. Иногда ночью. Рисунки... — Неринг осёкся.

— Что с рисунками?

— Увидите сами.

Коридоры «Аркадии» были длинными и белыми. Полы блестели так, что в них можно было увидеть собственное отражение — смазанное, искажённое, словно смотришься в воду, потревоженную ветром. Стены были украшены картинами — пасторальными пейзажами, абстрактными акварелями, всем тем, что положено вешать в дорогих клиниках, чтобы пациенты чувствовали себя не в больнице, а в галерее. Кервин шёл мимо них и думал, что это — первая ложь, которую слышит пациент, переступая порог. «Вы не больны. Вы просто устали. Мы дадим вам отдохнуть».

Он знал, что скрывается за этим обещанием. «Аркадия»

специализировалась на «реверсивной терапии» — эвфемизме, за которым пряталась технология избирательного стирания памяти. Забудь о войне. Забудь о насилии. Забудь о том, что сделал или что сделали с тобой. Оставь только светлые пятна — и живи дальше, как чистый лист. Технология была засекречена, запатентована и продавалась за суммы, которые могли бы прокормить небольшую страну. Кервин знал об этом больше, чем ему полагалось по должности. Он знал, что «Аркадия» — лишь вершина айсберга. Что под ней, глубоко в толще воды, скрывается нечто, чему он пока не находил названия.

Он остановился у окна. В саду клиники гуляли пациенты. Они двигались медленно, как сомнамбулы, их шаги были синхронизированы с ритмом невидимого метронома. Медсёстры в безупречно белых халатах сопровождали их — не поддерживая, а скорее направляя, как пастушьи собаки направляют стадо. Сверху, из окна третьего этажа, эта сцена напоминала не лечебницу, а муравейник. Или хоровод. Или ритуал.

Он отвёл взгляд. В конце коридора, у двери с табличкой «Восточное крыло. Посторонним вход воспрещён», стоял охранник. Кервин предъявил пропуск, и его пропустили.

Палата Лив находилась в самой дальней части крыла.

Здесь было тише, чем в остальной клинике, — тишина здесь была не санитарной, а какой-то древней, как в склепе или библиотеке. Кервин открыл дверь и вошёл.

Комната была залита светом. Огромное панорамное окно выходило на горы — снежные шапки, серые скалы, бесконечное небо, которое здесь, на высоте, казалось ближе, чем на равнине. В центре, на полу, покрытом белыми листами бумаги, сидела девушка.

Она была худой — не болезненно, а так, как бывают худы подростки, ещё не набравшие взрослую массу. Её волосы, светло-русые, почти пепельные, были собраны в небрежный пучок. Одежда — стандартный больничный халат, который на ней выглядел как саван. Она сидела, скрестив ноги, и рисовала. Уголь в её пальцах крошился, оставлял чёрные следы на бумаге и на коже. Она не заметила Кервина — или сделала вид, что не заметила.

Он подошёл ближе. Заглянул через её плечо. И замер.

Рисунок изображал город.

Это был не город из учебника архитектуры. Не фантазия на тему будущего. Это была... схема. Чертёж. Точный, детальный, пугающе выверенный. Кристаллические башни

уходили вверх, теряясь в слоях штриховки, обозначавшей то ли небо, то ли пустоту. Ярусы, мосты, арки — всё было связано в единую структуру, напоминавшую одновременно готический собор и микросхему. В центре возвышался Монолит — чёрный, абсолютно прямой, лишённый окон и дверей. Кервин смотрел на рисунок и чувствовал, как что-то внутри него отзывается. Словно он уже видел это место. Не во сне. Не в книге. Где-то ещё. Где-то, куда он должен был попасть.

Девушка перестала рисовать. Её рука замерла в воздухе, уголь завис над бумагой. Она подняла голову.

И Кервин увидел её глаза.

Они были серыми. Не метафорически, не «цвета грозового неба». Буквально серыми — цвета статического электричества, которое помехи выбрасывают на экран старого телевизора. Зрачки отсутствовали. Радужки пульсировали, испуская слабое, едва заметное свечение. Кервин знал этот взгляд. Он видел его каждое утро в зеркале — правда, в ослабленной, рудиментарной форме. Его собственные глаза не светились. Но они видели. И её глаза видели.

Она смотрела на него, и от неё не исходило тумана. Со всем. Ни серого, ни жёлтого, ни чёрного. Она была прозрачной. Чистой. Как стекло без единого пузырька воздуха.

Кервин хотел что-то сказать, но слова застряли в горле. Он не привык к тому, что слова застревают. За двадцать лет работы он допрашивал серийных убийц, террористов, политиков. Он всегда знал, что сказать. Но сейчас, перед этой девушкой, которая не говорила, он не находил слов.

Она медленно перевернула лист. На обратной стороне был другой рисунок — сделанный раньше, судя по высохшим следам угля, размазанным по краям.

Это был портрет.

Мужчина. Резкие скулы. Узкое лицо. Складка между бровей — глубокая, как шрам. Светлые глаза, слишком светлые для тёмных волос. Кервин смотрел на портрет и чувствовал, как холод поднимается откуда-то изнутри, из глубины, которой он не знал.

Он был нарисован за две недели до того, как впервые услышал название «Аркадия».

За две недели до того, как доктор Вейс написал слово на стене.

За две недели до того, как вся его жизнь — и без того

треснувшая, как старое зеркало, — начала рассыпаться на осколки.

Он вышел из палаты в коридор и прижался спиной к стене. Белый пластик был холодным, отрезвляющим. Сердце колотилось где-то не в груди, а в горле — Кервин чувствовал его пульс на нёбе, на языке, за глазами яблоками. Мысли, обычно выстроенные как солдаты на параде, разбегались в беспорядке, сталкивались, сбивали друг друга.

Девушка знала его. Девушка нарисовала его за две недели до встречи. Девушка рисовала город, которого нет ни на одной карте мира.

Он закрыл глаза и начал считать. Четыре счёта — вдох. Четыре — задержка. Четыре — выдох. Четыре — пустота. Старая техника, которой его научил первый наставник в Ку-антико, ветеран Вьетнама, знавший о посттравматическом синдроме больше, чем все учебники вместе взятые. «Когда реальность перестаёт быть реальной, — говорил он, — начинай дышать по квадрату. Это единственная геометрия, которая не врёт».

Дыхание помогло. Сердце вернулось в грудную клетку. Мысли начали строиться.

Он достал телефон. Гириш ответил после второго гудка.

— Алло? — голос в трубке был хриплым, но бодрым. Маркус Гирш никогда не спал по расписанию. Он спал, когда заканчивал работу, а работа у него не заканчивалась никогда.

— Гирш, нужно пробить одно слово. Латинское. «Veritas».

— Контекст?

— Наркотик. Или формула. Или секретный проект. Что угодно. В базах ФБР, Интерпола, в даркнете. Всё, что связано с этим словом, — поднимай.

— Понял. Ещё что-то?

— Да. — Кервин помедлил. — Клиника «Аркадия». Мне нужны все файлы, начиная с момента основания. Не только то, что в открытом доступе. Всё, что спрятано. Особенно — проект «Чистый Лист». И ещё один человек: доктор Карл Росси. Австрийский психиатр, работал на ЦРУ в семидесятых. Официально умер в 1989-м.

— Ты хочешь, чтобы я пробил покойника?

— Я хочу, чтобы ты пробил человека, который, возможно, не покойник. И Гирш... будь осторожен. Мне не нравится это место. Здесь пахнет не только деньгами.

— А чем ещё?

— Ложью, — сказал Кервин. — Такой старой, что она стала неотличима от правды.

Он повесил трубку и снова посмотрел на дверь в палату Лив. Ему хотелось вернуться. Задать вопросы, на которые она всё равно не ответит. Посмотреть на рисунки, которые она ещё не нарисовала. Но он знал: всему своё время. Сначала — дневник Вейса, который он ещё не прочитал. Сначала — флакон с прозрачной жидкостью, который он ещё не исследовал. Сначала — ответы, которые скрывались в прошлом.

Настоящее подождёт.

Номер в отеле «Баур-о-Лак» был слишком роскошным для человека, который привык спать в самолётах и допросных. Высокие потолки, лепнина, мебель из тёмного дерева — всё это напоминало декорации к фильму, который Кервин не хотел смотреть. Он задёрнул шторы, выключил верхний свет и оставил только настольную лампу — островок жёлтого тепла посреди цюрихской ночи.

На столе лежали три вещи: дневник в кожаном переплёте, флешка с зашифрованными файлами и флакон с прозрачной жидкостью. На этикетке от руки было выведено: «Veritas».

Кервин взял флакон первым. Поднёс к свету. Жидкость была бесцветной, как дистиллированная вода, но вела себя странно: не колыхалась от движения руки, а оставалась неподвижной, словно замёрзшей внутри стекла. Он никогда не видел ничего подобного. Это было не вещество — это была идея вещества. Платоновская форма жидкости.

Он поставил флакон и открыл дневник.

Запах старой бумаги и чего-то ещё — химического, лабораторного — ударил в ноздри. Почерк Вейса был нервным, скачущим, с наклоном то вправо, то влево, словно разные части его личности боролись за контроль над рукой. На первой странице, без даты и обращения, начинался текст:

«Меня зовут Элиас Вейс, и я больше не врач. Я — картограф, хотя карты, которые я составляю, нельзя купить в магазине. Я — астроном, хотя телескопы, в которые я смотрю, направлены не в небо. Я — археолог, хотя слои, которые я раскапываю, не принадлежат ни одной известной цивилизации.

Если вы читаете это, значит, я мёртв. Не ищите убийцу. Тот, кто нажал на курок, сделал это по моей просьбе. Тот, кто подал мне пистолет, был моим другом. Тот, кто написал слово на стене, был мной, и это слово — единственная честная вещь, которую я сделал за последние десять лет.

Я не собираюсь объяснять. Объяснения — для тех, кто ещё верит в причину и следствие. Я же видел вещи, которые не укладываются в цепочку «если — то». Я видел места, которые не существуют. Я говорил с существами, которые не должны говорить. Я пил жидкость, которая не жидкость, и она показала мне то, что скрыто не за горизонтом, а за собственным отражением в зеркале.

Вы хотите знать правду? Тогда слушайте.

Но предупреждаю: правда не делает свободным. Она делает мёртвым. Или тем, что хуже смерти.

Я оставляю этот дневник не как исповедь. Исповедь предполагает прощение, а я не ищу прощения. Я оставляю его как предупреждение. И как приглашение.

Тот, кто читает это, — ты не случайно здесь. Ты пришёл, потому что уже знаешь. Может быть, ты знаешь не умом, а чем-то другим — тем, что просыпается в три часа ночи и

смотрит в темноту без страха. Тем, что видит сны, которые не сны. Тем, что чувствует ложь как запах.

Ты знаешь, кто ты?

Если нет — не читай дальше. Сожги дневник, вернись в свою жизнь, забудь. Это лучший выход. Единственный, который я сам не смог выбрать.

Если да — продолжай. На следующих страницах я описал то, что видел. Это не наука, не теология, не философия. Это — карта. Карта местности, в которую никто не верит. Четыре мира. Четыре палаты. Четыре способа быть мёртвым.

Добро пожаловать в Метаморфозис».

Кервин оторвался от дневника. Его рука, державшая страницу, была спокойна — ни дрожи, ни испарины. Но что-то внутри, под диафрагмой, пульсировало глухо и тревожно.

Он был тем, о ком писал Вейс.

Он чувствовал ложь как запах. Он видел сны, которые не были снами. Он просыпался в три часа ночи и смотрел в темноту без страха, потому что тем, что жило в темноте, был он сам.

Он перевернул страницу.

«Есть четыре мира. Не в космосе — внутри. Каждый человек носит их в себе, как матрёшку, как слои кожи, как круги ада, только перевёрнутые.

Первый мир — наш. Тот, который мы называем реальностью. Но это не реальность. Это — театр. Все мы — актёры, играющие роли, которые выбрали не мы. Наши чувства — не наши. Наши мысли — не наши. Мы думаем, что любим, а на самом деле повторяем химический паттерн, записанный в генах миллион лет назад. Мы думаем, что ненавидим, а на самом деле боимся того, чего не понимаем. Мы думаем, что верим, а на самом деле затыкаем уши, чтобы не слышать тишину.

Этот мир я называю Диагностическим Театром. И каждый в нём — пациент.

Второй мир — выше. Или глубже. Направления здесь не работают. Это место, где нет вопросов. Где всё уже решено, объяснено, упаковано в красивые слова. Где люди улыбаются, потому что забыли, как плакать. Где вера заменяет зрение, а сомнение считается болезнью. Я называю его Садам. И это самое страшное место из всех.

Третий мир — между. Это библиотека, в которую никогда не возвращают книги. Это разговор, который никогда не заканчивается. Это черновик, который нельзя дописать. Там живут те, кто не может выбрать между слепотой и прозрением. Они — вечные спрашивающие. Их оружие — слово. Их проклятие — ясность ума без возможности что-либо изменить.

Четвёртый мир — внизу. Или снаружи. Там нет тепла. Там нет цвета. Там есть только логика. Чистая, как алмаз, и такая же безжалостная. Всё, что нельзя измерить, там не существует. Всё, что нельзя доказать, там — ошибка. Этот мир населён не демонами, а формулами. Но формулы эти живы. И они говорят.

Я был во всех четырёх. Я пил ключ, который открывает двери. Я говорил с теми, кто там живёт. И я понял одно.

Нет ни Рая наверху, ни Ада внизу. Есть только мы — и то, что мы выбираем видеть.

Я выбрал видеть всё. И это убило меня».

Кервин закрыл дневник. Снаружи шёл дождь. Внутри него шёл другой дождь — из мыслей, которые не хотели складываться в привычные схемы.

Четыре мира. Четыре палаты. Вейс писал о них как о реальности, но что, если это была метафора? Или галлюцинация, вызванная препаратом? Или то и другое одновременно?

Он взял флакон. Холод стекла, казалось, проникал сквозь кожу прямо в кости.

Кервин знал, что не должен этого делать. Знал, что препарат не исследован, что Вейс мёртв, что всё это может быть ловушкой. Но было и другое знание — то самое, которое просыпалось в три часа ночи. Знание, что ответы лежат не в дневнике. Не в архивах. Не в допросах.

Ответы лежали внутри него. И Veritas был ключом.

Он откупорил флакон и поднёс к губам.

Пахло ничем.

Он выпил.

Жидкость не имела вкуса. Это было первое, что заметил Кервин. Не горечь, не сладость, не химический привкус — а полное, абсолютное отсутствие. Как будто он выпил не вещество, а концепцию вещества. Ноль. Пустоту в жидкой форме.

Он поставил флакон на стол и стал ждать. Ничего не происходило. Мир оставался прежним — гостиничный номер, жёлтый свет лампы, дождь за окном. Минута. Две. Три. Кервин начал думать, что препарат не сработал. Что Вейс был сумасшедшим, а его дневник — бредом больного воображения. Что вся эта история с четырьмя мирами — лишь метафора, в которую поверил слишком глубоко.

А потом мир моргнул.

Это не было болью. Это не было головокружением. Это было похоже на то, как если бы кто-то нажал кнопку «обновить» в операционной системе реальности. На долю секунды всё исчезло — стены, окно, его собственные руки — и тут же вернулось, но иначе. Словно он всю жизнь смотрел на мир через грязное, запотевшее стекло и только сейчас кто-то протёр его до кристальной прозрачности.

Кервин встал. Подошёл к окну. Дождь всё ещё шёл — капли по-прежнему разбивались о мостовую, стекали по водосточным трубам, собирались в лужи. Но теперь он видел не просто дождь. Он видел каждую каплю в отдельности. Их траектории — миллионы парабол, рассчитанных с абсолютной точностью. Атмосферное давление, которое толкало их вниз. Молекулы воды, которые конденсировались вокруг микрочастиц пыли. Круговорот влаги на планете, длящийся

миллиарды лет. Дождь больше не был дождём. Он был уравнением — огромным, прекрасным, завершённым.

Кервин поднёс ладонь к лицу. Кожа. Линии на ладони — не случайные складки, а результат генетической программы, запущенной в момент зачатия. Он видел клетки — не глазами, а каким-то новым чувством, которое проснулось внутри. Их деление, их старение, их запрограммированную смерть. Он знал точное количество клеток в своей руке. Он знал, сколько из них умрут в следующую секунду и сколько родятся им на смену.

Он поднял глаза к зеркалу. Из отражения на него смотрел человек. Тот же узкий подбородок, те же резкие скулы, та же складка между бровей — глубокая, как ножевое ранение. Но теперь он видел то, что скрывалось под кожей. Не мышцы, не кости — нет. Он видел паттерн. Структуру. Программу.

Вот его отец, судья с безупречной репутацией, который каждое воскресенье вёл семью в церковь и каждую среду писал приговоры, продиктованные не законом, а мстостью. Вот его мать, которая знала о дневнике мужа, но сожгла его, потому что правда была слишком неудобной. Вот он сам в двенадцать лет — мальчик, который верил, что родители любят его, пока однажды не увидел ложь. Не понял. Не догадался. Увидел — как чёрный туман, сочащийся из отцовского рта

при каждом слове.

«Я люблю тебя». И чёрный туман.

«Я горжусь тобой». И чёрный туман.

«Всё будет хорошо». И чёрный туман, чёрный туман, чёрный туман.

А потом — тот день, когда он умер. Утонул в озере, провалившись под лёд. Четыре минуты клинической смерти. Четыре минуты в темноте, которая не была пустой. Четыре минуты в месте, о котором он не мог вспомнить, но которое помнило его. А когда он вернулся, он начал видеть. Сначала — смутно, как через запотевшее стекло. Потом — яснее. И вот сейчас, через двадцать пять лет после своей смерти, он видел всё.

Кервин заставил себя оторваться от зеркала. Вернулся к столу, к раскрытому дневнику. Слова Вейса, которые минуту назад казались бредом, теперь складывались в ледяную, безупречную систему. Он читал и понимал — не умом, а всем своим существом, каждой клеткой, каждым нейроном, каждой молекулой принятого препарата.

Четыре мира.

Он уже был в двух. Третий и четвёртый ждали его.

Он знал это. Не догадывался — знал. Так же, как знал траекторию дождевых капель, структуру собственной кожи и точное количество ударов сердца, оставшихся ему до смерти.

В дверь постучали. Три удара, быстрых и требовательных. Так стучал только один человек.

— Открыто, — сказал Кервин.

Дверь распахнулась. Маркус Гирш, запыхавшийся, в очках, запотевших от перехода с холодной улицы в тёплый вестибюль, ворвался в номер и замер на пороге. Его взгляд пробежал по комнате — стол, флакон, дневник, Кервин у окна — и вернулся к лицу начальника.

— Ты принял это, — сказал он. Не спросил. Констатировал.

— Да.

— Сколько времени прошло?

— Час двадцать три минуты.

— Как ты себя чувствуешь?

Кервин задумался. Вопрос был простым, но ответ требовал слов, которых не существовало в человеческом языке. Как объяснить слепому, что такое цвет? Как объяснить тому, кто никогда не видел Veritas, что такое абсолютная, кристальная, безжалостная ясность?

— Я в порядке, — сказал он наконец. — Я просто вижу.

— Что именно?

— Всё.

Гирш стянул очки и начал протирать их краем рубашки — привычка, которую Кервин наблюдал сотни раз, но только сейчас заметил в ней математическую закономерность. Три круговых движения по часовой стрелке, пауза, два движения обратно. Паттерн, который Гирш повторял, не осознавая.

— Ты меня пугаешь, — сказал Гирш. — Ты и раньше был странным, Антон. Но сейчас ты смотришь на меня так, словно читаешь штрих-код.

— Ты не лгал мне ни разу за десять лет. Это редкое качество. Я ценю его больше, чем ты думаешь.

— Я не лгу не из добродетели. Просто не умею.

— Знаю. Это называется синдромом Аспергера, высокофункциональная форма. Твой мозг не способен генерировать социальную ложь. Ты не понимаешь, зачем она нужна, и поэтому не используешь её. Для меня это — как чистый воздух в комнате, полной дыма.

Гирш перестал протирать очки.

— Ладно. Ты определённо изменился. Обычно ты не говоришь о моём диагнозе. И вообще не говоришь о чувствах.

— Я и сейчас не говорю о чувствах. Я говорю о фактах. Садись. Докладывай.

Гирш сел в кресло, достал планшет.

— Я пробил «Veritas», как ты просил. И то, что я нашёл, мне очень не нравится.

— Мне тоже многое не нравится. Начинай.

Гирш развернул планшет и начал читать — быстро, сухо, без эмоций. Так, как он читал все отчёты. Но Кервин, который теперь видел не только слова, но и то, что за ними стояло, замечал детали, ускользнувшие бы от него раньше. Микродвижения глаз. Частоту дыхания. Уровень кортизола в крови, который можно было оценить по лёгкой испарине на лбу.

Гирш был напуган. Не просто обеспокоен — напуган. И его страх имел запах. Кервин никогда раньше не чувствовал запахов эмоций, но теперь это было так же естественно, как слышать звук.

— «Veritas» впервые упоминается в 1972 году, — говорил Гирш, водя пальцем по экрану. — Закрытый проект ЦРУ «МК-Ultra», подраздел «Химическая истина». Цель — создание сыворотки правды, способной взламывать сознание на фундаментальном уровне. Руководитель — доктор Генрих Штайн, австрийский психиатр, вывезенный из Германии в 1945 году в рамках операции «Скрепка». Проект закрыт в 1978-м. Официальная причина — неэффективность.

— А неофициальная?

— Я нашёл фрагменты отчёта Штайна. Они не должны были сохраниться — кто-то хорошо поработал, стирая сле-

ды. Но одна копия уцелела в частном архиве бывшего сотрудника ЦРУ, который умер два года назад. Его наследники выставили бумаги на аукцион. Я перехватил лот.

— Что там?

Гирш открыл фотографию документа. Старая бумага, выцветшие чернила, гриф «Совершенно секретно». Кервин прочитал текст — не глазами, а как-то иначе. Смысл входил в него напрямую, минуя зрение. Так, наверное, чувствуют себя компьютеры, когда в них загружают данные.

«Субъект после приёма препарата демонстрирует полную неспособность к самообману. Он не просто говорит правду — он видит её. Видит ложь в вопросах исследователей. Видит ложь в структуре эксперимента. Видит ложь в самом существовании проекта. После трёх доз все испытуемые либо покончили с собой, либо потребовали, чтобы их убили. Препарат не является сывороткой правды. Препарат является окном. Окном в структуру реальности. И то, что видно через это окно, не предназначено для человеческого сознания».

— Сколько было испытуемых?

— Двенадцать. Выжил один.

— Доктор Карл Росси.

— Да. — Гирш поднял глаза от планшета. — Ты знал?

— Догадался.

— Росси — автор термина «Метаморфозис». Это он впервые описал четырёхуровневую структуру. Вейс цитирует его в дневнике. Но Росси мёртв. Официально — сердечный приступ в 1989 году. Неофициально — я не смог найти ничего. Вообще ничего. Как будто он исчез не только из жизни, но и из всех баз данных. Его нет нигде, Антон. Это невозможно.

— Невозможного не существует, — сказал Кервин. — Есть только вероятность, близкая к нулю.

— Это ты сейчас процитировал кого-то?

— Нет. Это я сейчас понял.

Гирш помолчал.

— Есть ещё кое-что. Я нашёл запись с камеры наблюдения. Цюрихский банк, три дня назад. В хранилище заходил человек, чьё лицо совпадает с фотографией Росси 1976 года.

Он не постарел ни на день.

— Покажи.

Гирш развернул изображение. Размытая фигура в тёмном пальто. Лицо — профиль, пойманный в момент, когда человек поворачивался к камере. Кервин всмотрелся. Он уже видел этого человека. Не на фотографии. Не во сне. В Палимпсесте. На Плаце Дискуссий. С чашкой чая «Депрессия» в руке.

Он знал, что они встретятся. Знал с того момента, как Veritas вошёл в его кровь. Возможно, даже раньше — с того момента, как Лив нарисовала его портрет.

— Гирш, — сказал он. — Мне нужно найти вход.

— Какой вход?

— В Чистилище.

Гирш снял очки и начал протирать их снова. Три круговых движения. Пауза. Два обратно.

— Ты понимаешь, как это звучит? — спросил он.

— Понимаю. Но это не меняет фактов. Есть место, о котором писал Вейс. Есть человек, который ждёт меня там. И есть девушка, которая не говорит, но знает обо мне больше, чем я сам. Мне нужно попасть в это место. А для этого мне нужно найти дверь.

— Где?

— Вейс упоминает рынок. «Серый Карнавал». Порт Плакальщиц. Это должно быть где-то в Цюрихе.

Гирш вздохнул и снова уткнулся в планшет. Его пальцы забегали по экрану.

— Порт Плакальщиц... — бормотал он. — В официальных реестрах нет ничего. В картах — ничего. В даркнете... Стоп. Есть. Закрытый форум, доступ через луковую маршрутизацию. Упоминания о ночном рынке в промзоне. Старый порт, склад номер 47. Но там ничего нет.

— Там есть, — сказал Кервин. — Просто не для всех.

— И как мы туда попадём?

— Мы не попадём. Я попаду. Ты останешься здесь и будешь страховать.

— Антон...

— Гирш. — Кервин положил руку на плечо ассистента — жест, который он позволял себе крайне редко. — То, что происходит, больше, чем расследование. Это... инициация. Я не знаю, что ждёт меня по ту сторону. Но я знаю, что там нужен свидетель. Ты — лучший свидетель, который у меня есть. Ты не лжёшь. Ты помнишь всё. И если я не вернусь, ты расскажешь.

— Кому?

Кервин достал из внутреннего кармана книгу — «Анатомия Слепоты», которую он забрал из сейфа Вейса.

— Всем.

Они вышли из отеля, когда часы на башне Святого Петра показывали половину четвёртого утра. Цюрих спал. Улицы были пусты, витрины тёмны, светофоры мигали жёлтым в режиме ночного ожидания. Мокрый асфальт отражал редкие фонари, и эти отражения двоились, троились, множились — Кервин видел в них не просто лужи, а сложную систему зеркал, каждое из которых показывало чуть иную реальность. В одной луже он был моложе. В другой — старше.

В третьей — мёртв.

Он не обращал на это внимания. Veritas перестраивал восприятие, и нужно было научиться фильтровать входящий поток. Пока получалось не очень, но он учился быстро.

Порт Плакальщиц находился в промзоне на окраине. Туда не ходили трамваи, таксисты отказывались ехать после заката, а местные жители — те немногие, что обитали в облезлых домах вдоль канала, — не открывали дверей после наступления темноты. Кервин и Гирш шли пешком, и эхо их шагов металось между стенами складов, создавая иллюзию, что кто-то третий идёт следом.

— Здесь ничего нет, — повторил Гирш, когда они остановились перед складом номер 47. — Я же говорил. Глухая стена. Ни дверей, ни окон.

Кервин смотрел на стену. В обычном состоянии он бы увидел то же, что и Гирш, — ржавый металл, бетонные блоки, граффити на немецком. Но сейчас он видел иное. Дверь, сотканную из того самого тумана, который он наблюдал во круг лжецов всю свою жизнь. Только этот туман был не серым и не чёрным — он был серебристым, переливающимся, как перламутр. И ручка у него была в форме скорпионьего хвоста.

— Это Метафора, — сказал Кервин.

— Что?

— Дверь в Чистилище. Она не существует физически. Она существует как идея. Чтобы войти, нужно перестать верить, что её нет.

— Это бессмысленно.

— Именно. В этом и смысл.

Кервин протянул руку и коснулся скорпионьего хвоста. Металл — или то, что казалось металлом, — был тёплым на ощупь и слегка вибрировал, как живой.

— Я иду, — сказал он. — Жди здесь. Если не вернусь через сутки — публикуй.

— Что публиковать?

— Всё. Дневник. «Анатомию». Мои записи. Правду.

— Чью правду?

Кервин усмехнулся — впервые за эту ночь.

— Вот это и узнаем.

Он толкнул дверь и шагнул в туман.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.